

# Натурализованная эпистемология

Уиллард Ван Орман Куайн  
Willard Van Orman Quine

2000

В книге:

*Куайн Уиллард Ван Орман*

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

*Перевод выполнен Т. А. Дмитриевым по изданию: Quine W. V. *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, pp. 69–90.*

Эпистемология имеет дело с основаниями науки. Трактующая в столь широком ключе, эпистемология включает в себя исследование оснований математики в качестве одного из своих разделов. В середине века специалисты думали, что их усилия в этой отдельной области достигли значительного успеха: математика выглядела целиком и полностью сводимой к логике. В настоящее время следует скорее вести речь о сводимости математики к логике и теории множеств. Эта поправка с эпистемологической точки зрения ведет к разочарованию, поскольку те надежность и ясность, которые ассоциируются с логикой, не могут быть приписаны теории множеств. Как бы то ни было, успех, достигнутый в исследованиях оснований математики, остается относительным стандартом научного исследования, и мы можем попытаться каким-то образом прояснить оставшуюся часть эпистемологии путем сравнения ее с этим разделом.

Исследования в области оснований математики разделяются на два вида: концептуальный и доктринальный. Концептуальные исследования имеют дело со значением [языковых выражений], доктринальные – с их истинностью. Концептуальные исследования связаны с прояснением понятий путем их определения в других терминах. Доктринальные исследования связаны с установлением законов путем их доказательства; в некоторых случаях это доказательство осуществляется на основе других законов. В идеале более смутные понятия требуются определять в терминах более ясных, с тем чтобы максимально увеличить ясность, и менее очевидные законы следует доказывать, исходя из более очевидных, с тем чтобы максимально увеличить достоверность. В идеале определения должны порождать все понятия из ясных и отчетливых идей, а доказательства должны порождать все теоремы из самоочевидных истин.

Эти два идеала тесно связаны между собой, поскольку, если вы определяете все понятия посредством употребления какого-то их избранного подмножества, вы тем самым показываете, как перевести все теоремы в эти избранные термины. Чем яснее эти термины, тем больше

вероятность того, что выраженные при их помощи истины будут либо очевидно истинными, либо выводимыми из очевидных истин. В особенности если все понятия математики сводимы к ясным терминам логики, то все истины математики в таком случае оказываются истинами логики; ясное дело, что все истины логики являются либо очевидными, либо выводимыми из очевидных истин посредством отдельных очевидных шагов.

В действительности этого не происходит, поскольку математика сводится только к теории множеств, но не к самой логике. Эта редукция увеличивает ясность, но только в силу возникающих взаимоотношений, а не в силу того, что конечные термины анализа являются более ясными, чем остальные. Что же касается конечных истин, аксиом теории множеств, то они обладают меньшей очевидностью и ясностью, чем большинство математических теорем, которые мы выводим из них. Более того, из работ Геделя мы знаем, что математика не может быть охвачена какой-либо непротиворечивой системой аксиом, даже если мы отказываемся от самоочевидности. Редукция в основаниях математики остается математически и философски завораживающей, однако она не дает эпистемологу того, что он хочет от нее получить: она не раскрывает оснований математического знания, она не показывает, как достижима математическая достоверность.

Все же сохраняет силу полезная мысль, рассматривающая эпистемологию в целом с точки зрения той двойственности ее структуры, которая так бросается в глаза в основаниях математики. Я имею в виду разделение на теорию понятий, или значения, и доктринальную теорию, или теорию истины; ведь это разделение применимо к естествознанию не в меньшей степени, чем к основаниям математики. Эта параллель состоит в следующем. Точно так же, как математика должна быть сведена к логике, или же к логике и теории множеств, естественнонаучное знание должно опираться на чувственный опыт. В том, что касается концептуальной стороны исследования, это означает объяснение понятия тела в терминах чувственно данных. В свою очередь, в том, что касается доктринальной стороны исследования, это означает обоснование нашего знания истин природы в терминах чувственно данного; это.

Юм обдумывал эпистемологию естественнонаучного знания с этих двух сторон: концептуальной и доктринальной. Разработка Юмом концептуальной стороны проблемы, заключавшаяся в объяснении тел при помощи чувственных терминов, была простой и незамысловатой: он идентифицирует тела вне нас с чувственными впечатлениями. Если здравый смысл склонен отличать материальное яблоко и те чувственные впечатления, которые мы получаем от этого яблока на том основании, что яблоко остается одним и тем же и существует непрерывно, в то время как впечатлений много и они сменяют друг друга, то тем хуже для здравого смысла; представление о том, что яблоко остается одним и тем же при самых разных обстоятельствах, является вульгарным заблуждением.

Почти что столетие спустя после «Трактата» Юма та же самая точка зрения на тела была сформулирована ранним американским философом Александром Брайаном Джонсоном<sup>1</sup>. «Слово *железо*, – писал Джонсон, – именует взаимосвязанные качества зрения и осязания».

А как быть в таком случае с доктринальной стороной, с обоснованием нашего знания истин о природе? В обосновании знания Юм потерпел неудачу. В своем отождествлении тел с впечатлениями он и в самом деле преуспел в конструировании отдельных единичных высказываний о телах как несомненных истинах, как об истинах относительно впечатлений, известных непосредственно. Однако общие высказывания, равно как и единичные высказывания о будущих событиях, не будут достоверными, если конструировать их как высказывания о впечатлениях.

В том, что касается доктринальной стороны, мы в настоящее время вряд ли продвинулись дальше Юма. Пределамент Юма является человеческим пределаментом. Но в концептуальной части произошел прогресс. Решающий шаг вперед был сделан еще до Александра Брайана Джонсона, хотя сам Джонсон не последовал ему. Этот шаг был сделан Бентамом в его

---

<sup>1</sup> A. B. Johnson A Treatise on Language. New York, 1836; Berkeley, 1947.

теории фикций. Он заключался в признании контекстуальных определений, или того, что он называл перефразировкой. Он признал, что для того, чтобы объяснить термин, нет никакой необходимости ни выделять тот объект, к которому он относится, ни выделять синонимичное слово или фразу; достаточно показать при помощи каких угодно средств, как перевести все предложение, в котором используется данный термин. Безнадежный способ идентификации тел с впечатлениями, практиковавшийся Юмом и Джонсоном, перестает быть единственным мыслимым способом осмысленного разговора о телах, даже если мы придерживаемся взгляда, что впечатления являются единственной реальностью. Можно было бы попытаться объяснить высказывания о телах в терминах высказываний о впечатлениях, путем перевода целых предложений о телах в целые предложения о впечатлениях, не приравнивая сами тела к чему-либо.

Идея контекстуального определения, или признания предложения первейшим носителем значения, была неотделима от последующего развития оснований математики. Она становится ясной уже у Фреге и достигает полного расцвета в учении Рассела о единичных описаниях как неполных символах.

Контекстуальное определение было одним из двух спасительных средств, оказавших освобождающее воздействие на концептуальную сторону эпистемологии естественнонаучного знания. Вторым было развитие теории множеств и использование ее понятий в качестве вспомогательных средств в рамках эпистемологии. Эпистемолог, желающий пополнить свою скудную онтологию чувственных впечатлений теоретико-множественными конструктами, внезапно становился очень богатым; теперь ему приходится иметь дело не только со своими впечатлениями, но и с множествами впечатлений, и с множествами множеств, и так далее. Построения в рамках оснований математики показали, что такие теоретико-множественные средства оказывают нам мощную поддержку; помимо всего прочего, из них конструируется весь словарь понятий классической математики. Снаряженному этими мощными средствами, нашему эпистемологу нет необходимости ни идентифицировать тела при помощи впечатлений, ни довольствоваться контекстуальными определениями; он может надеяться отыскать в какой-то утонченной конструкции множеств из множеств чувственных впечатлений категорию объекта, удовлетворяющую тем стандартным свойствам, которые он приписывает телам.

Эти два спасительных средства весьма разнятся по своему эпистемологическому статусу. Контекстуальное определение является неопровержимым. Предложения, которые было придано значение как отдельным единицам, несомненно, являются осмысленными, и то употребление, которое в их рамках имеют составляющие их термины, также является осмысленным, вне зависимости от того, существует ли какой-либо перевод для этих терминов в изоляции. Ясно, что Юм и А. Б. Джонсон с удовольствием использовали бы контекстуальные определения, если бы знали о них. С другой стороны, обращение за помощью к множествам является решительным онтологическим движением, знаменующим избавление от скудной онтологии впечатлений. Существуют философы, которые скорее откажутся от признания тел вне нас, чем примут все эти множества, которые составляют, помимо всего прочего, всю абстрактную онтологию математики.

Но вопрос о соотношении элементарной логики и математики не всегда был ясен; происходило это по большей части потому, что элементарная логика и теория множеств ошибочно считались неразрывно связанными друг с другом. Это порождало надежду на сведение математики к логике, причем к непорочной и несомненной логике; соответственно, математика так же должна была обрести все эти качества. Поэтому Рассел был склонен к использованию как множеств, так и контекстуальных определений в тех случаях, когда он в «Нашем знании внешнего мира» и в целом ряде других работ обращался к эпистемологии естественнонаучного знания, к его концептуальной стороне.

Программа, согласно Расселу, должна была заключаться в том, чтобы объяснить внешний мир как логическую конструкцию из чувственных данных. Ближе всех к решению этой зада-

чи подошел Карнап в своей работе “Der Logische Aufbau der Welt” («Логическое построение мира»), появившейся в 1928 г.

Так обстояло дело с концептуальной стороной эпистемологии; а что же происходило с ее доктринальной стороной? В ней предикамент Юма оставался неизменным. Если бы реконструкция Карнапа увенчалась успехом, то она позволила бы перевести все предложения о мире в термины, выражающие чувственные данные, или наблюдения, плюс логику вместе с теорией множеств. Но даже в этом случае тот простой факт, что предложения могут быть *выражены* в терминах наблюдений, логики и теории множеств, не означает, что они могут быть *выведены* из предложений наблюдения при помощи логики и теории множеств. Самые скромные обобщения относительно наблюдаемых свойств будут охватывать больше случаев, нежели способен наблюдать автор этих обобщений. Попытка обосновать естественную науку при помощи непосредственного опыта строго логическим способом была признана безнадежной. Картезианский поиск достоверности в качестве мотивации имел весьма отдаленное отношение к эпистемологии, как с ее концептуальной, так и с ее доктринальной сторон. Обосновывать истины природы, опираясь на авторитет непосредственного опыта, – предприятие столь же безнадежное, как и попытка обосновать математические истины при помощи потенциальной очевидности элементарной логики.

Что в таком случае могло мотивировать героические усилия Карнапа по исследованию эпистемологии с ее концептуальной стороны в тот самый момент, когда пришлось оставить надежду на достижение достоверности в ее доктринальном измерении? Все еще сохранялось два хороших повода. С одной стороны предполагалось, что такие конструкции способствовали бы прояснению чувственных данных, используемых в науке, даже если цепочке вывода от чувственных данных к научной доктрине не хватало бы достоверности. Другой повод состоял в том, что такие конструкции способствовали бы углублению нашего понимания мира, даже вне всякой зависимости от вопросов очевидности; они обеспечили бы ясность познания, сравнимую с ясностью терминов наблюдения, логики и, как я вынужден с сожалением добавить, теории множеств.

Эпистемологи, вроде Юма и прочих, горевали о необходимости молчаливого признания невозможности строго выведения науки о внешнем мире из чувственных данных. Два кардинальных принципа эмпиризма оставались, однако же, неприступными, и они продолжают оставаться таковыми и по сей день. Во-первых, это принцип, что всякий опыт, который имеет значение для науки, это – чувственный опыт. Во-вторых, это принцип, что все вводимые значений слов должны в конечном счете опираться на чувственный опыт. Отсюда непреходящая привлекательность идеи *logischer Aufbau*<sup>2</sup>, в котором чувственное содержание познания было бы выражено явным образом.

Если бы Карнапу удалось успешно осуществить это всеобъемлющее построение, то как он мог бы утверждать, является ли оно истинным? Вопрос этот не имеет смысла. Карнап искал того, что он называл *рациональной реконструкцией*. Любое построение физикалистского дискурса в терминах чувственного опыта, логики и теории множеств должно было бы считаться удовлетворительным постольку, поскольку оно способствовало успеху физикалистского дискурса. Если есть один путь, то должны быть и иные, однако любой путь будет большим достижением.

Однако к чему вся эта творческая реконструкция, все эти выдумки? Стимуляции чувственных рецепторов, – вот те единственные эмпирические данные, с которыми приходится иметь дело тому, кто пытается получить картину мира. Почему бы просто не рассмотреть в таком случае, как это построение в действительности происходит? Почему бы не обратиться к психологии? Такая капитуляция эпистемологии перед психологией отвергалась прежде как циркулярное рассуждение. Если целью эпистемолога является обоснование оснований эмпирической науки, то он не может использовать психологию, равно как и иную эмпирическую

---

<sup>2</sup> Логического построения (нем.).

науку, в целях такого обоснования. Однако такая щепетильность по поводу логического круга теряет всякий смысл, раз мы оставили надежду вывести науку из наблюдений. Если мы просто хотим понять связь, имеющую место между наблюдением и наукой, то с нашей стороны было бы вполне разумным делом использовать любую надежную информацию, включая ту, которая предоставляется нам самой наукой, связь которой с наблюдением мы пытаемся понять.

Но остается еще и иное соображение, не связанное с опасениями по поводу циркулярности, и говорящее в пользу все еще желаемой творческой реконструкции. Мы хотели бы *перевести* науку в логику и термины наблюдения и теорию множеств. Это стало бы громадным эпистемологическим достижением, поскольку показало бы, что все прочие понятия науки являются теоретически избыточными. Это эпистемологическое достижение узаконило бы их – в той степени, в какой понятия теории множеств, логики и наблюдения сами являются легитимными, – путем показа того, что все, сделанное при помощи одного аппарата, может быть в принципе сделано при помощи другого аппарата. Если бы сама психология могла бы осуществить истинную переводную редукцию такого рода, то мы приветствовали бы ее; но в действительности она не в состоянии это сделать, поскольку в действительности мы не взрослеем, обучаясь определениям физикалистского языка в терминах априорного языка теории множеств, логики и наблюдения. Здесь в таком случае появятся хорошие соображения в пользу настойчивого продолжения рациональной реконструкции: мы хотим установить принципиальную безвредность физических понятий путем показа того, что они являются теоретически несущественными.

На самом деле та конструкция, которую Карнап набрасывает в “*Der logische Aufbau der Welt*” вообще не дает переводной редукции. Подобного рода редукция не была бы осуществлена даже в том случае, если бы удалось осуществить логическое построение картины мира. Переломный момент наступает тогда, когда Карнап объясняет, как чувственным качествам приписываются положение в пространстве и времени. Эти приписывания должны осуществляться таким способом, чтобы восполнить, постольку, поскольку это возможно, определенные недостатки, которые он устанавливает, и с ростом опыта приписывания должны пересматриваться для того, чтобы удовлетворять требованиям. Этот план, сколь бы вразумительным он ни был, не дает нам какого-либо ключа к *переводу* предложений науки в термины наблюдения, логики и теории множеств.

Мы должны быть разочарованы любой такого рода редукцией. Карнап разочаровался в ней в 1936 г., когда в своей статье «Проверяемость и значение»<sup>3</sup> он ввел так называемые *редукционные формы*, типа более слабого, чем определение. Определения показывали всегда, как перевести предложения в эквивалентные предложения. Контекстуальное определение термина показывало, как перевести предложение, содержащее этот термин, в эквивалентное предложение, этот термин не содержащее. Со своей стороны, редукционные формы либерализованного вида, введенные Карнапом, как правило, не дают эквивалентности; они дают импликации. Они объясняют новый термин, пусть лишь отчасти, путем спецификации некоторых предложений, которые имплицитно содержатся предложениями, содержащими данный термин, и других предложений, имплицитно содержащих, в свою очередь, предложения, содержащие данный термин.

Заманчиво предположить, что допущение редукционных форм в этом либеральном смысле является еще одним дальнейшим шагом на пути либерализации, сравнимым с более ранним шагом, сделанным Бенетом и состоявшим в допущении контекстуального определения. Предшествующий и более суровый вид рациональной реконструкции можно было бы представить как вымышленную историю, в которой мы воображаем своих предшественников вводящими термины физикалистского дискурса на феноменистской и теоретико-множественной основе посредством последовательности контекстуальных определений. Новый и более либеральный вид рациональной реконструкции есть вымышленная история, в которой мы вооб-

<sup>3</sup>Philosophy of Science, 1936, № 3, pp. 419–471; 1937, №4, pp. 1–40.

ражаем наших предшественников вводящими эти термины посредством последовательности редукционных форм более слабого вида.

Это сравнение, однако же, никуда не годиться. На самом деле первый и более суровый вид рациональной реконструкции, в котором безраздельно господствует определение, вообще не является вымышленной историей. Этот вид рациональной реконструкции был не больше и не меньше как множеством предписаний – или же стал бы таковым в случае успеха – для описания в терминах феноменов и теории множеств всего того, что мы в настоящее время описываем в терминах тел. Это было бы истинной редукцией посредством перевода, легитимацией посредством исключения. *Definire est eliminare*<sup>4</sup>. Ничего подобного не делает рациональная реконструкция посредством более поздних и более свободных редукционных форм Карнапа.

Ослабить требование определения и удовольствоваться видом реконструкции, который не является исключаящим означает отказаться от последнего преимущества, которое, как мы предполагали, рациональная реконструкция имеет перед обыкновенной психологией; а именно это означает отказаться от преимущества переводной редукции. Если все, на что мы надеемся, – это реконструкция, которая связывает науку с опытом явными способами, испытывающими недостаток перевода, то было бы более разумно довольствоваться психологией. Лучше изучать, как наука в действительности развивается и усваивается, нежели выдумывать какие-то вымышленные структуры, служащие сходной цели.

Одну главную уступку эмпирик делает тогда, когда отчаивается вывести истины о природе из чувственных данных. Отчаявшись даже перевести эти истины в термины наблюдения и логико-математических подсобных средств, он делает другую главную уступку. Предположим, что мы вместе со старым эмпириком Пирсом считаем, что значение предложения состоит исключительно в тех практических различиях, которое его истинность будет иметь для возможного опыта. Разве мы не могли бы в таком случае при помощи предложения длиною в главу сформулировать в языке наблюдения все те различия, что истина данного предложения могла бы иметь для опыта; и разве не могли бы мы считать все это переводом? Даже если те различия, которые истинность высказывания могла бы иметь для опыта, будут без конца размножаться, мы все же могли бы надеяться на то, что сможем охватить их всех в логических импликациях нашей формулировки длиною с главу точно так же, как мы можем аксиоматизировать бесконечность теорем. В этом случае, потеряв надежду на такой перевод, эмпирик приходит к заключению, что эмпирические значения типичных высказываний о внешнем мире являются недостижимыми и невыразимыми.

Каким образом можно было бы объяснить эту недостижимость? Может быть, на том основании, что опытные импликации типичного высказывания о телах являются слишком сложными для конечной аксиоматизации, какой бы развернутой она ни была? Нет; у меня есть иное объяснение. Эта недостижимость [эмпирических значений типичных высказываний о внешнем мире] объясняется тем, что типичные высказывания о телах не имеют своего собственного запаса опытных импликаций. Субстанциальная масса теории, будучи взятой в целом, будет обычно иметь опытные импликации; причем именно в силу этого мы делаем доступные для проверки предсказания. Мы можем быть не в состоянии объяснить, почему мы получаем теории, которые делают успешные предсказания, однако мы и в самом деле получаем такие теории.

Иногда происходит так, что опыт, имплицитный теории, не обнаруживается; в таком случае мы мысленно объявляем теорию ложной. Однако эта неудача фальсифицирует только какой-то блок теории как целого, конъюнкцию многих высказываний. Неудача показывает, что одно или несколько из этих предложений являются ложными, но не показывает какое. Предсказанные опыты, истинные или ложные, не имплицитуются каким-либо составляющим теорию высказыванием в большей степени, нежели другим. Составляющие теорию высказывания просто не имеют эмпирических значений, согласно стандарту Пирса; только достаточно

---

<sup>4</sup>Определять означает устранять (лат.).



внушительная часть теории обладает таковым. Если мы вообще в состоянии стремиться к какому-то виду *logischer Aufbau der Welt*, то это должна быть [логическая конструкция], в рамках которой тексты, предназначенные для перевода в термины наблюдения и логико-математические термины, должны быть скорее внушительными теориями, взятыми как целое, нежели терминами или короткими предложениями. Перевод теории в таком случае будет представлять собой трудную и тяжеловесную аксиоматизацию всех тех опытных различий, которые имела бы истинность этой теории. Это был бы довольно странный перевод, поскольку теория переводилась бы в целом, а не по отдельным частям. В этом случае предпочтительнее было бы говорить не о переводе, но о данных наблюдения для теорий; и мы можем, следуя Пирсу, назвать их эмпирическим значением теорий.

Эти соображения наводят на философский вопрос, касающийся даже обычного нефилософского перевода, например с английского на китайский язык или на язык арунта. Поскольку если английские предложения теории обладают значением только совместно в качестве единого целого, то мы можем обосновать их перевод с английского языка на язык арунта тоже только совместно в качестве единого целого. В таком случае невозможно было бы оправдать разделение на пары составляющих теорию английских предложений и составляющих теорию предложений на языке арунта, кроме тех корреляций, что делают перевод теории в целом правильным. Любой перевод предложений с английского языка на язык арунта был бы столь же правильным, сколь и всякий другой, постольку, поскольку сеть эмпирических импликаций теории в целом сохраняется в переводе. Однако следует ожидать, что множество разнообразных способов перевода составляющих теорию предложений, по существу различающихся друг от друга, будут передавать одни и те же эмпирические импликации для теории в целом, отклонения в переводе одного предложения, составляющего теорию, могли бы в таком случае быть компенсированы в переводе другого составляющего теорию предложения. В таком случае не было бы никаких оснований для определения того, какой из двух явно несхожих переводов отдельных предложений является правильным<sup>5</sup>.

Для некритически настроенного менталиста такая неопределенность не представляет опасности. Всякий термин и всякое предложение являются ярлыком, прикрепленным к идее, простой или сложной, которая находится в уме. Если же, с другой стороны, мы принимаем всерьез верификационистскую теорию значения, неопределенность кажется неизбежной. Венский кружок поддержал верификационистскую теорию значения, однако не воспринимал ее в достаточной степени всерьез. Если мы, вслед за Пирсом, признаем, что значение предложения зависит исключительно от того, что считается свидетельством его истинности, и если мы, вслед за Дюэмом, признаем, что теоретические предложения обладают своими данными не как отдельные предложения, но только как большие блоки теории, то в этом случае неопределенность перевода теоретических предложений есть естественное заключение. А большинство предложений, исключая предложения наблюдения, являются теоретическими. Соответственно, это заключение, коль скоро оно принято, решает судьбу любого общего понятия пропозиционального значения или, собственно говоря, положения дел.

Должна ли нежелательность этого заключения заставить нас отказаться от верификационистской теории значения? Конечно же, нет. Тот вид значения, который является базисным для перевода и для обучения своему родному языку, всегда является эмпирическим значением, и ничем иным. Ребенок учит свои первые слова и предложения, воспринимая их на слух и употребляя их в присутствии соответствующих стимулов. Эти стимулы должны быть внешними стимулами, поскольку они должны воздействовать как на ребенка, так и на говорящего, у которого он учится языку<sup>6</sup>. Язык социально прививается и контролируется; прививка и контроль зависят от соединения предложений с раздельной стимуляцией. Внутренние факторы могут варьироваться *ad libitum* без всякого ущерба для коммуникации до тех пор, пока соединение

<sup>5</sup>См.: Quine W. V. *Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, p. 2.

<sup>6</sup>Ibid, p. 28.

языка с внешними стимулами остается ненарушенным. Нет иного выбора, кроме как быть эмпириком, коль скоро речь идет о теории лингвистического значения.

То, что было сказано мною относительно усвоения языка ребенком, равным образом относится и к усвоению нового языка лингвистом в полевых условиях. Если лингвист не опирается на родственные языки, для которых существуют ранее принятые практики перевода, то ясно, что в его распоряжении нет никаких иных данных, кроме сопутствующих друг другу высказываний туземца и наблюдаемой стимульной ситуации. Не приходится удивляться тому, что в этом случае имеет место неопределенность перевода – поскольку, конечно же, только небольшая часть наших высказываний передает сопутствующую внешнюю стимуляцию. Предположим, что лингвист в конце концов получит определенные переводы всего, но только делая множество произвольных выборов – произвольных, даже если они являются бессознательными, – на этом пути. Произвольных? Под этим словом я имею в виду то, что различные выборы могли все же сделать правильным все то, что допускает какую-либо проверку.

Позвольте мне свести воедино некоторые из соображений, что были высказаны мной. Решающее соображение в пользу моего аргумента о неопределенности перевода состояло в том, что высказывание о мире всегда или обычно не обладает отдельным запасом эмпирических следствий, который можно было бы считать принадлежащим исключительно ему. Это соображение позволило также объяснить невозможность эпистемологической редукции такого вида, согласно которой всякое предложение сводимо или эквивалентно предложению, состоящему из терминов наблюдения и логико-математических терминов. А невозможность подобного рода эпистемологической редукции рассеивает тень того мнимого превосходства, которое эпистемология якобы имеет перед психологией.

Философы справедливо разочаровались в возможности исчерпывающего перевода в термины наблюдения и логико-математические термины. Они потеряли веру в такую редукцию даже еще до того, как признали в качестве основания для такой несводимости, что высказывания обычно не имеют своего собственного запаса эмпирических следствий. А некоторые философы увидели в этой несводимости банкротство эпистемологии. Карнап и другие логические позитивисты Венского кружка уже придали термину «метафизический» уничижительное значение, как обозначению всего бессмысленного; та же участь ждала и термин «эпистемология». Витгенштейн и его оксфордские последователи находили призвание философии в терапии: в исцелении философов от иллюзии, что существуют эпистемологические проблемы.

Но я думаю, что с этой точки зрения более продуктивной оказывается идея, что эпистемология остается, хотя и в новом ключе и в более проясненном статусе. Эпистемология, или нечто подобное ей, просто занимает место раздела психологии и, следовательно, естественной науки. Она исследует естественные явления, а именно физический человеческий субъект. Этот человеческий субъект представляет собой экспериментально контролируемый вход – например, определенную модель излучения определенной частоты, – и по истечении некоторого времени субъект выдает на выходе описание внешнего трехмерного мира в его развитии. Отношение между бедным входом и богатым выходом и есть то отношение, которое мы должны изучать. В определенном смысле этими же причинами обусловлена и эпистемология; а именно: мы изучаем отношение между бедным входом и богатым выходом для того, чтобы увидеть, как данные относятся к теории и как некоторые теории природы превосходят имеющиеся данные.

Такое исследование должно включать в себя нечто подобное рациональной реконструкции в той степени, в какой эта реконструкция является практичной; поскольку конструкции воображения могут служить указаниями на актуальные психологические процессы в той же степени, в какой на них могут указывать механические стимулы. Однако заметная разница между старой эпистемологией и эпистемологическим исследованием в этом новом психологическом облике состоит в том, что теперь мы можем свободно использовать эмпирическую психологию.



Старая эпистемология пыталась включить в себя естественную науку; она строила ее из чувственных данных. Напротив, эпистемология в ее новом облике сама включена в естественную науку как раздел психологии. Но при этом и прежнее притязание на включение естественной науки в рамки эпистемологии сохраняет свою силу. Мы исследуем, как человеческий субъект нашего исследования постулирует тела и проектирует свою физику из своих данных, и мы понимаем, что позиция, занимаемая нами в мире, в значительной мере сходна с той позицией, которую занимает он. Само наше эпистемологическое исследование, являющееся составной частью психологии, и естественная наука в целом, составной частью которой является психология, – все это наши собственные конструкции или проекции из стимулов, вроде тех, что мы устанавливали для нашего эпистемологического субъекта. В этом случае имеет место двойное включение, хотя и не совпадающее по смыслу: во-первых, эпистемологии в естественную науку и, во-вторых, естественной науки в эпистемологию.

Это взаимодействие вновь приводит к возрождению старой опасности логического круга, однако теперь все в порядке, поскольку мы оставили нереальное стремление вывести науку из чувственных данных. Мы ищем понимания науки как учреждения или процесса, происходящего в мире, и мы не предполагаем, что это понимание должно быть лучше, чем сама наука, которая является его объектом. Этот подход, собственно говоря, и имел в виду Нейрат в годы Венского кружка, когда предлагал метафору науки как моряка, который должен перестроить свою лодку, оставаясь в ней в море.

Один из результатов, достигнутых эпистемологией в ее психологическом облике, состоит в том, что она разрешает старую загадку эпистемологического приоритета. Наша сетчатка воспринимает достигающие ее световые лучи в двух измерениях, и тем не менее мы видим вещи в трехмерном пространстве без помощи сознательного вывода. Что в таком случае следует считать наблюдением – бессознательное двухмерное восприятие или осознанное трехмерное постижение? В старой эпистемологии сознательные формы мышления имели приоритет, поскольку обоснование знания о внешнем мире осуществлялось через рациональную реконструкцию и это требовало осознания. Однако мы перестали нуждаться в осознании в тот самый момент, когда оставили все попытки обосновать знание внешнего мира при помощи рациональной реконструкции. Теперь наблюдением можно считать все, что может быть установлено в терминах стимуляции органов чувств, как бы при этом ни понималось сознание.

Вызов, брошенный гештальт-психологами атомистическому истолкованию чувственных данных, казавшийся столь актуальным для эпистемологии сорок лет назад, в настоящее время также потерял свое обаяние. Вне зависимости от того, составляют ли чувственные атомы или же гештальты передний край нашего сознания, именно стимуляции наших чувственных рецепторов следует считать входом нашего познавательного механизма. Старые парадоксы относительно бессознательных данных и выводов, старые проблемы, касающиеся цепей выводов, которые должны были быть завершены слишком быстро, – все это больше уже не имеет никакого значения.

В старые антипсихологистические дни вопрос об эпистемологической приоритетности носил спорный характер. Что является эпистемологически приоритетным по отношению к чему? Являются ли гештальты первичными по отношению к чувственным атомам, поскольку они привлекают большое внимание, или же по каким-то более тонким соображениям следует предпочесть им чувственные атомы? Теперь, когда мы получили возможность обращаться к физической стимуляции, проблема исчезает; *A* эпистемологически первично или предшествует *B*, если *A* причинно ближе, чем *B*, к чувственным рецепторам. Или, что в ряде отношений лучше, было бы правильно явным образом говорить в терминах причинной близости к чувственным рецепторам и закончить все разговоры об эпистемологической приоритетности.

Примерно в 1932 г. в рамках Венского кружка шли жаркие дебаты относительно того, что считать предложениями наблюдения, или *Protokollsätze*<sup>7</sup>. Одна позиция по этому вопросу со-

<sup>7</sup>Карнап и Нейрат в журнале «Erkenntnis», 1932, №3, pp. 204–228.

стояла в том, что предложения наблюдения имеют форму отчетов о чувственных впечатлениях. Другая заключалась в том, что они являются высказываниями элементарного вида о внешнем мире, например, «На столе стоит красный куб». Еще одна позиция, которую занимал Нейрат, состояла в том, что предложения наблюдения имеют форму отчетов об отношениях между наблюдателем и внешними вещами: «Отто в данный момент видит куб, стоящий на столе». Самым печальным во всех этих спорах было то, что отсутствовал какой-либо объективный способ разрешения этой проблемы: способ, который позволил бы придать данной проблеме реальный смысл.

Давайте попытаемся рассмотреть этот вопрос непредубежденно в контексте внешнего мира. Если говорить в самом общем смысле, то мы считаем предложениями наблюдения такие предложения, которые находятся в наибольшей причинной близости к чувственным рецепторам. Однако как следует измерять или оценивать такую близость? Идея может быть перефразирована следующим образом: предложения наблюдения – это предложения, которые при нашем изучении языка в наибольшей степени обусловлены скорее сопутствующей чувственной стимуляцией, нежели накопленной дополнительной информацией. Давайте вообразим предложение, относительно которого мы должны вынести решение, является ли оно истинным или ложным; должны выразить с ним свое согласие или несогласие. В таком случае предложение является предложением наблюдения, если наше решение зависит исключительно от чувственной стимуляции, наличной в данный момент.

Однако решение не может зависеть от наличной стимуляции до такой степени, что оно будет совершенно исключать накопленную информацию. Сам факт, что мы выучили язык, влечет за собой большое накопление информации, без которой мы вообще были бы не в состоянии принять какое-либо решение, касающееся предложений, насколько бы они ни были предложениями наблюдения. Ясно, что нам следует сделать наше определение менее строгим: предложение является предложением наблюдения, если все касающиеся его решения зависят от наличной чувственной стимуляции и не зависят от дополнительной информации, за исключением той, которая входит в понимание предложения.

Эта формулировка приводит к возникновению следующей проблемы: как нам следует отличать информацию, задействованную при понимании предложения, от информации, в понимании предложения участия не принимающей? Это – проблема проведения различия между аналитическими истинами, значимость которых заключается исключительно в значениях слов, и синтетических истин, которые зависят не только от значений. Долгое время я считал, что это различие является мнимым. Есть, однако, по крайней мере один аспект этого различия, который имеет смысл: предложение, являющееся истинным просто в силу значений слов, по крайней мере в том случае, если оно является простым, может вызвать согласие всех говорящих в рамках сообщества. Возможно, противоречивое понятие аналитичности может быть устранено в нашем определении предложения наблюдения в пользу этого простого атрибута принятия сообществом.

Этот атрибут, конечно же, не является экспликацией аналитичности. Сообщество согласилось бы, что существуют черные собаки, однако никто из тех, кто говорит об аналитичности, не назвал бы это утверждение аналитическим. Мое отрицание понятия аналитичности означает только то, что я не провожу различия между тем, что входит в простое понимание предложений языка, и тем, что помимо этого сообщество видит лицом к лицу. Я сомневаюсь в том, что можно провести какое-то объективное различие между значением и такой дополнительной информацией, которая является общей для всего сообщества.

Возвращаясь к нашей задаче определения предложений наблюдения, мы получаем следующее: предложением наблюдения является такое, которому все говорящие на данном языке выносят одну и ту же оценку при одинаковых стимулах. Выражая это соображение отрицательно, можно сказать, что предложение наблюдения есть предложение, которое нечувствительно к различиям в прошлом опыте в рамках языкового сообщества.

Эта формулировка превосходно согласуется с традиционной ролью предложений наблюдения как судей научных теорий, поскольку, согласно нашему определению, предложениями наблюдения являются предложения, с которыми при одинаковых стимулах согласятся все члены сообщества. Каков критерий членства в сообществе? Это просто общая плавность диалога. Этот критерий допускает различные степени; и мы, конечно же, можем брать сообщество то более широко, то более узко в зависимости от вида исследования. То, что считается предложением наблюдения для сообщества ученых, не всегда будет считаться таковым для более широкого сообщества.

В формулировке предложений наблюдения, данной нами, в основном отсутствует субъективность; обычно они будут предложениями о телах. Поскольку отличительной чертой предложения наблюдения является intersубъективное согласие при одинаковой стимуляции, предположение о существовании тел более вероятно, чем предположение об их несуществовании.

Старая тенденция ассоциировать предложения наблюдения с субъективной чувственной предметностью является скорее иронией, коль скоро мы отдаем себе отчет в том, что предложения наблюдения являются своего рода intersубъективным трибуналом научных гипотез. Старая тенденция возникла благодаря стремлению основывать науку на чем-то более надежном и первичном в опыте субъекта; однако мы отвергли этот проект.

Лишение эпистемологии ее старого статуса первой философии подняло, как мы видели, волну эпистемологического нигилизма. Это настроение отражается в тенденции Поланьи, Куна и позднего Рассела Хэнсона принизить роль эмпирических данных и возвеличить культурный релятивизм. Хэнсон рискнул даже дискредитировать идею наблюдаемости, утверждая, что так называемые наблюдения изменяются от наблюдателя к наблюдателю в зависимости от степени обладания отдельными наблюдателями знаниями. Опытный физик смотрит в аппарат и видит излучение х-лучей. Начинающий физик, смотря в ту же самую точку, наблюдает скорее «стеклянный и металлический прибор, снабженный проводами, рефлекторами, болтами, лампами и кнопками»<sup>8</sup>. То, что для одного человека является наблюдением, для другого является закрытой книгой или полетом воображения. Понятие наблюдения как объективного источника эмпирических данных для науки является несостоятельным. Мой ответ на пример с х-лучами был уже дан чуть выше: то, что считается предложением наблюдения, изменяется в зависимости от ширины соответствующего сообщества. Однако мы всегда можем получить абсолютный стандарт, приняв всех говорящих на данном языке, или большинство сообщества<sup>9</sup>. Ирония заключается в том, что философы, сочтя старую эпистемологию в целом несостоятельной, реагируют на это открытие отрицанием эпистемологии как отдельной дисциплины, которая только-только начинает вырисовываться в виде ясной картины.

Прояснение понятия предложения наблюдения является правильным делом, поскольку это понятие является фундаментальным в двух отношениях. Эти два аспекта соответствуют той двойственности, что была очерчена мной в начале этой лекции: двойственности между понятием и доктриной, между знанием того, что предложение означает, и знанием того, является ли оно истинным. Предложение наблюдения является базисным в обоих отношениях. Отношение предложения наблюдения к доктрине, к нашему знанию о том, что истинно, является довольно традиционным: предложения наблюдения являются носителями эмпирических данных для научных гипотез. Отношение предложения наблюдения к значению также является фундаментальным, поскольку предложения наблюдения являются единственными, которые мы в состоянии научиться понимать в первую очередь; это касается как детей, так и лингвистов, занятых прикладными исследованиями. Ибо предложения наблюдения таковы, что мы

<sup>8</sup>*N. R. Hanson. Observation and Interpretation // S. Morgenbesser(ed). Philosophy of Science Today. New York: Basic Books, 1966.*

<sup>9</sup>Эта характеристика учитывает такие случайные отклонения, как безумие или слепота. С другой стороны, такие случаи могли бы быть исключены путем корректировки уровня плавности диалога при определении тождественности языка. (Это замечание было подсказано мне Бартоном Дребеном, которому я также обязан целым рядом важных соображений, оказавших мне существенную помощь в работе над этой статьей).

можем соотносить их с наблюдаемыми обстоятельствами их произнесения и оценки независимо от прошлой информации, которой располагает индивидуум. Они дают нам единственный возможный доступ к языку.

Предложения наблюдения являются краеугольным камнем семантики. Это обусловлено тем, что они играют центральную роль при обучении значению [выражений языка]. Их значения наиболее стабильны. Предложения теории высших уровней не имеют эмпирических следствий, которые можно было бы назвать принадлежащими исключительно им; они предстают перед трибуналом чувственных данных только в виде более или менее охватывающих совокупностей. Предложения наблюдения, расположенные на чувственной периферии тела науки, являются минимально верифицируемыми совокупностями. В этом смысле они имеют свое собственное эмпирическое содержание.

Предикамент неопределенности перевода не имеет отношения к предложениям наблюдения. Сравнение предложения наблюдения нашего языка с предложением наблюдения другого языка является вопросом эмпирического обобщения; это вопрос тождества между областями стимулов, склоняющих к согласию с первым предложением, и областью стимулов, склоняющих к согласию со вторым предложением<sup>10</sup>.

Сказать, что эпистемология стала теперь семантикой, не означает нанести удар по убеждениям старой Вены, поскольку эпистемология остается, как всегда, сконцентрированной на эмпирических данных, а значение остается сконцентрированным на верификации, и эмпирические данные и есть верификация. Однако по предубеждениям наносит удар то, что значение, коль скоро мы выходим за пределы предложений наблюдения, перестает вообще иметь какое-либо применение к отдельным предложениям; а также то, что эпистемология сочетается с психологией, равно как и с лингвистикой.

Этот союз только и может, как мне кажется, содействовать прогрессу в философски интересном исследовании науки. Одной из возможных областей такого исследования является исследование норм восприятия. Рассмотрим для начала лингвистический феномен фонемы. Мы формируем привычку, слушая мириады вариаций произнесенных звуков и истолковывая каждый из них как приближающийся к той или иной из ограниченного множества норм, которых всего-навсего порядка тридцати, конституирующих так называемый разговорный алфавит. Вся речь в рамках нашего языка может считаться на практике следствием именно этих тридцати элементов, таким вот образом исправляющих небольшие отклонения. Итак, за пределами языка также существует, по всей вероятности, весьма ограниченное множество норм восприятия, по отношению к которым мы бессознательно стремимся исправить все наши восприятия. Эти восприятия, будучи отождествленными экспериментально, могли бы рассматриваться как своего рода строительные блоки эпистемологии, как работающие элементы опыта. Они могли бы считаться отчасти зависящими от культурного окружения, наподобие фонем, а отчасти – универсальными.

Опять-таки здесь существует область, названная психологом Дональдом Т. Кэмпбеллом эволюционной эпистемологией<sup>11</sup>. В этой области работает Хусейн Йылмаз, который объясняет, как отдельные структурные моменты восприятия могут быть объяснены с точки зрения приспособления к природе<sup>12</sup>. Еще одна важная эпистемологическая проблема, которая поддается прояснению с точки зрения эволюции – это проблема индукции, коль скоро мы предоставляем в распоряжение эпистемологии ресурсы естествознания<sup>13</sup>.

<sup>10</sup>Ср.: *Quine W. V. Word and Object*. New York: John Wiley & Sons, 1960, pp. 31–46, 68.

<sup>11</sup>*D. T. Campbell. Methodological suggestions from a comparative psychology of knowledge processes // Inquiry*, 1959, № 2, pp. 152–182.

<sup>12</sup>Husein Yilmaz. On color vision and a new approach to general perception // E. E. Bernard and M. R. Care(eds.), *Biological Prototypes and Synthetic Systems*. New York: Plenum, 1962; *Perceptual invariance and the psychophysical law // Perception and Psychophysics*, 1967, № 2, pp. 533–538.

<sup>13</sup>См.: *Quine W. V. Natural Kinds // Quine W. V. Ontological Relativity and Other Essays*. New York: Columbia University Press, 1969, pp. 114–138.

OCR: Александр Гребеньков, [greb@kursknet.ru](mailto:greb@kursknet.ru)